

Где кончается Бенья

Сто лет назад родился Исаак Бабель

Андрей Немзер

В 1916 году Бабель писал: «Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца? <...> Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего с Украины? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом».

Солнцелюбца был созвучен эпохе. От Розанова и Вячеслава Иванова до Бальмонта и Маяковского — сияние, эрос, торжество плоти, шупальцы мифа, грядущие (с невероятной скоростью) гунны, грохот провинциализма. Ломающие пунктуационные нормы экзотичные тире предвещают: сейчас появится Человек. У которого море смеется. И действительно: «Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, — был Горький» («Одесса»).

Горький позднее, защищая Бабеля от Буденного, сравнит его конармейцев (местоимение двойится: «его» — очкастого писателя, «его» — усатого вахмистра) с запорожцами. Между тем у молодого Бабеля старый Бульба соседствует с о. Матвеем, которого он (о мертвая скука интеллигентских штампов, преобразившихся в штампы декадентские!) мнит погубителем Гоголя. Ничего оригинального, но хорошо вписывается в общепабелевский контекст.

«— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?»

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаете — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скульптурный, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом кресле, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен».

Это «Письмо». В Тарасовы времена фотографий не было. Читатель помнит, каковы в рассказе отношения отца и сыновей. И так не только в революцию.

«Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать

раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал» («Как это делалось в Одессе»).

Отец здесь не бьют. Бенья становится Королем. Но «там, где есть государь император, там нет короля», — говорит в предшествующем монархоименном рассказе пристав. Его речение обратимо: там, где есть Король, нет государя императора. В третьем из «Одесских рассказов» Мендель Крик орет о том, «как его искалечили собственные сыновья — старший Бенья и младший Левка». Слышит его Фроим Грач — тот, кто пробовал Бенью на Тартаковском. Он ждет Бенью в борделе под дверью, дабы пригласить его в зятя и компаньоны. Как Мендель Крик и государь император, Фроим Грач — отец, о чем свидетельствует название третьего рассказа. Отцовские судьбы одинаковы.

«Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс» («Соль»). Дети владеют оружием и слогом. «Бенья говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». Историю возвышения Короля слушает очкастый автор, умеющий скандальничать только на бумаге и заикающийся на людях. В далеком 1916 году он познакомился с близоруким сладкоежкой Керенским, считающим (перифразируем службу Арье-Лейба из «Как это делалось в Одессе»), что, коли нет на носу очков, то и в душе нет осени. В июне семнадцатого года верховный главнокомандующий «произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушила его овчинами своих страстей. Что увидел в ошестившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну вззошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим никакой надежды:

— Товарищи и братья...» («Линия и цвет»).

Троцкий носил пенсне. Очки, вопреки Арье-Лейбу, не отделяют, но приближают повествователя «Одесских рассказов» к их герою. Очкастый Лютов не из киндербальзамов. Не умея убить человека, мучаясь над казненным гусем, он знает свое — «родную беспощальную газету «Красный кавалерист», которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и оглося этого он с героическим духом рубает подлую шляхту». В «Письме» (цитированной вариации «Тараса Бульбы») Бабель не забывает восславить первоизданными словами мальчика-мстителя лютовскую газету. То есть Лютова. То есть себя.

В рассказе «Рабби» Лютов правдив — он не петроградский юрист, а еврей из Одессы, перекладывающий в стихи происхождения Герша из Острополья, учившийся Библии и ищущий веселья. Встретив субботу и примитив сына рабби Илью («проклятый сын, последний сын, непокорный сын»), рассказчик отправляется на вокзал. «Там <...> в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции и недописанная статья в газету «Красный кавалерист». Через четыре месяца Лютов снова встречается с Ильей — по-этом, партийцем, командиром разгромленного полка. «Он умер, последний принц, среди стихов, филактрий и портянок. Мы похоронили



АЛЕКСАНДР ДЕДУШЕВ

его на забытой станции. И я, едва вмещающийся в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата». Он был единственным из осаждающих агитпоезд беглецов, протянувшим за листовкой Троцкого «грязную мертвую руку».

Прорисовывается цепочка братьев, не всегда схожих и способных распознать друг друга. Успешно посягнувших на власть отеческую: биндюжничью, губернаторскую, царскую. Разбой, эрос, революция, новая словесность. Сын рабби Илья, сын Менделя Крика Бенья, сыновья Тимофея Курдюкова, писатель из Одессы. «Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем» («Одесса»).

Если принц не погибает, если Андрия не настигает пуля Тараса, то он становится Королем. И приходит его черед. Двадцатитрехлетний хозяин одесского Чека отправляет в расход старого Фроима Грача. Этот рассказ был написан в 1933 году и отвергнут редколлегией альманаха «Год XVI». «Ответь мне как чекист, <...> ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?» — спрашивал начальник чрезвычайки следователя одессита. «Не знаю, <...> наверное, не нужен...» — Бабель мог сказать о рассказе, как его персонаж о Фроиме. Жертва бессмысленная: в семью годами раньше написанном киносценарии «Бенья Крик» Бабель слал не «отца», а «брата» молодого Короля — разрушил легенду о Мишке Япончике. Фильм не понравился Кагановичу. В ту пору рассказы «Соль» и «Линия и цвет» еще не блистали купюрами: «сын тамбовского губернатора» числился в великих вождях. И ему, и Бабелю, и бабелевским героям пришлось-таки понять, где начинается полиция и где кончается Бенья. Правило тоже обратимое.

Отцеубийцы любили отцов. Отсюда та смесь Тарасовой ярости и Андриевой влюбленности в католическую Польшу, что цветет на страницах «Конармии» «в лучах необузданного заката, вопиющего, как помидор, раздавленный неслыханным каблучком начдива десять» (сравнение из пародии Александра Архангельского, 1927). Отсюда восторг при описаниях всего уходящего — грандиозного или жалкого, русского

или еврейского, барского или нищего: знаменитый слог, легендарные детали. Отсюда же наивная вера в сладостное примирение, что непременно случится — ведь должен избитый (убитый) отец понять и принять удары сына. «Иисус Навин, остановивший солнце, всего только сумасброд <...> И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнце, всю жизнь он хотел стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городских на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!» Так кончился (страшнее, чем в киносценарии) Бенья и началась полиция. Пьеса «Закат» написана в 1928 году.

Молодой Бабель намеревался стать русским Мопассаном. Бабель маститый нахваливал французскую новеллистику и сетовал, что у нас «больше тянутся на романы». Мечта о лаконичном слоге оставалась в силе. Французскую прозу любил поверженный Троцкий. В речи на первом съезде писателей Бабель (по понятным причинам) оглядывался на другого стилиста: «Посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры». Переключка с Мандельштамовой эпиграммой была незапланированной.

Кульминация рассказа «Гюи де Мопассан» известна не меньше прочих цитат этой статьи. Опыненный вином, вожделием и словесным гением рассказчик «вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер...» Если нынешний голодный и страстный литературный мессия в бальмонтоском порыве потянется к грудастой филологичной необуржуазке, переливающей деньги мужа «в розоватый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах», то он рискует опрокинуть только два тома Бабеля. А не двадцать девять.

Мопассан умер в сорок два года. Бабеля убили в сорок пять. Убивать начали до приговора и ареста. Как говорил бабелевский Павличенко: «Стрельбой <...> от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость...»